

Вот что можно сказать о Сане.

Он снова увидел во сне липы. Стволы их тускнели какой-то мезозойской грязью. Он знал, что это липы. И он любил липы. Но он всегда отмечал, что их кора имеет цвет засохшей мезозойской грязи. Он было выставился к ним. Но вдруг под ними загалдели. Он остановился и постарался понять, кто и о чём загалдел. Различить, однако, ничего не смог. А проснулся – и в самом деле около соседнего дома нарочно громко, до срыва глоток, ржали и кричали. Он подумал, что так могут ржать и кричать только русское молодое дурьё и русская пьянь, потому что ни то, ни другое никогда не получают отпора.

Он спал в балконной лоджии. Уже было по ночам холодно, уже ложились заморозки. Но он открывал окна, стелил на пол матрац и укрывался растёгнутым спальным мешком. В тёплые ночи – только простынкой. Бывало, донимали комары. Он укрывался с головой и оставлял снаружи лишь нос, так как с детства не мог переносить спёртого воздуха. Комары в последнее время быстро мутировали. Они научились летать бесшумно и по непредсказуемой траектории, как моль. Но и при своей мутации они почему-то выставленный из-под простынки его нос игнорировали. Признание его объектом, достойным внимания, наверно, откладывалось до следующего этапа мутации.

От глумливого галдежа молодого русского дурья Саня проснулся и прежде раздражения засёк, что галдели у соседнего дома, а не под липами. Он встал и поглядел вниз. В темноте угадались семь смутных пятен. Семь жлобов в четыре часа утра упивались своей безнаказанностью. Под липами – не во сне, а на самом деле – не менее десятка добрых молодцев, до того молчавших и, вероятнее всего, кого-то слушавших, вдруг враз возмущённо загалдели, но, как по команде, смолкли. И он им за их галдёж был до сих пор благодарен – потому что до сих пор мог видеть липы и вообще до сих пор мог видеть сны. Ну а эти семь жлобов вызвали желание взять что-нибудь лёгонькое типа «малая сапёрная» и вежливо попросить если уж не разойтись, то хотя бы примолкнуть.

Но ничего подобного Саня не сделал, а снова улёгся.

И проснулся он во второй раз от того, что выпал иней. Он выпал к утру, первый в эту осень, слабенький и несмелый. Чуть высветлило солнце, иней ушёл, вернее, тут же улёгся, но уже обильной росой. И сам он, слабенький и робенький, то есть несмелый, и его любые, а не только обильные последствия

обычно обходились очень дорого. Робость его обращалась безжалостностью. Он робко падал – а им приходилось сидеть и ждать. Им приходилось ждать, пока солнце съедало его без следа. Иначе он оставлял их след. А этого им – ноздрь на вывих – не было надо. Им вообще было надо пролететь птичкой, проползти муравьём, самим упасть инеем и на солнышке обратиться в облачко. Такая у них обычно была задачка – всё увидеть и всё отметить, а самим при этом остаться невидимкой, то есть птичкой, муравьём, облачком.

Наверно, от шороха пришедшего инея Саня снова проснулся, посмотрел за окно и, уж коли проснулся, не стерпел шагнуть в ещё тёмную комнату и с любовью её оглядел. Скупобставленная и не совсем привлекательная для взыскательного или, наоборот, нечуткого глаза, квартирка его была вполне замечательная, или, по выражению друга Кости Кравца, отличная и, можно сказать, даже удовлетворительная. Квартирка Сане нравилась. И нравился ему последний, шестнадцатый этаж с воробыиной семьёй в стрехе над лоджией. В лифте, когда он нажимал кнопку своего этажа, часто удивлялись и даже, кажется, порой смотрели на него с сожалением, мол, вот невезуха человеку, ему – на шестнадцатый! А порой и спрашивали, мол, как там, на шестнадцатом, и при этом, конечно, думали, что там плохо. Он отвечал оценкой Кости, мол, на шестнадцатом – очень даже отлично и, можно сказать, даже удовлетворительно. И ведь на самом деле, на шестнадцатом было отлично, потому что никто сверху не стучал, никто сверху не заливал водой, и вообще там было тихо, как в лесу, в поле, то есть в горах, как на задаче, пока не зашумели бое-столкновением. На задаче в горах известно – кто выше, тот барин. Правда, такого барства лучше было бы не знать. Лучше было бы сидеть на равнине и контролировать её с какой-нибудь кочки. А горное барство – это, да вот как сказал один служивый поэтической строкой: «Пехоту высадили на три сто, пехоте надо на четыре триста». Вот на такое барство сподобиться можно было только от тупого желания выжить, которое, кстати, – не барство, а желание – тупело на каждом шаге, и грохался, бывало, такой барин в судороге, остатком глотки выталкивая из себя что-нибудь типа: «Всё!.. Лучше здесь!..». – То есть барин изволили предпочесть сдохнуть на месте и тотчас же, нежели хотя бы пошевелиться.

В третий раз Саня проснулся по-барски, в семь часов. Он с привычной любовью обвёл комнату взглядом, в ванной окатил себя водой едва не со льдом, побрился, поотпывчивал подбородок и повтягивал щёки, несколько отмечая появившееся толстомордие. Потом он постоял над тазом с бельём – замочить или не замочить – и замочил. А потом сварил картошку, заправил её брынзой, майонезом, зеленью, пряностями и перцем, посожалел, что с утра нельзя заправить чесноком, позавтракал и уселся на диван, чтобы, так сказать, в брюхе улеглось. Времени было. И он посидел просто так, попялился взором по квартирке, послушал тишину. У двери он снова оглядел квартирку, взглянул на заоконные Змеиные горы, разной дальностью вершин слитые в единую си-не-сизую змеиную полосу.

– Ну, до вечера! – махнул он всему рукой и вдруг признался: – Сегодня у нас с Женечкой первое свидание!

На тринадцатом или двенадцатом этаже в лифт вошли двое насупленных

людей – муж и жена. Он подождал, когда они поздороваются, не дождался и поздоровался сам. Они не шелохнулись. Из лифта они вышли первыми. «Явно я им испортил настроение!» – подумал он. Этак было каждый день по сто раз. Он здоровался, но ответ получал редко. С детства он освоил, что первым здоровается младший со старшим, мужчина – с женщиной, идущий – со стоящим. И никак он не мог освоить, почему на его приветствие неприязненно молчали даже большинство соседей. И каждый раз он на секунду раздражался.

Цветы у подъезда молодцевато тарачились на солнце. Им, наверно, казалось, что иней – совершеннейший пустяк, и стоит только перетерпеть ночь да дожждаться солнца. Он на миг по логической связи от инея к следам вспомнил липы и в который раз за утро подумал: «Или мы прохлопали их охранение и нам дико повезло, или их охранение прохлопало нас, и нам опять дико повезло, а ведь меня, дурака, ну прямо потащило под эти липы!».

– Вот и вы, – сказал он цветам, – этак же прохлопаете! – А что прохлопают цветы, он не сказал, так как и без того было понятно, что они прохлопают заморозки, хотя по отношению к цветам такое обвинение было несправедливым, ибо хлопай цветы не хлопай, а заморозки всё равно придут.

Так язычески разговаривать со всем, что ни встретится, он тоже научился с детства. И будто эти разговоры ему помогали. Будто при этих разговорах ему что-то приходило такое, что не пришло бы, если бы он не разговаривал, будто то, с чем он разговаривал, если уж не открывало ему тайну, то хотя бы предупреждало, и ему оставалось только вчувствоваться в эти предупреждения. На самом деле, конечно, ничего такого не было. Однако всё равно было приятно думать, что такое было.

2

До офиса на Пушкинской ходьбы было час десять. Транспорт, если без задержек, обходилось в полчаса. А с небольшими задержками, когда какой-нибудь – тут Саня обычно употреблял не совсем печатные эпитеты – когда какой-нибудь, мягко выражаясь, эгоистически настроенный водитель вставал поперёк трамвайных путей с надеждой вторгнуться во встречный поток, и его приходилось пережидать, тогда хорошо было, если укладывались в сорок минут. Не совсем печатные эпитеты вполне имели место быть и даже обращаться в совсем непечатные, когда этот эгоистически настроенный водитель вставал на трамвайные пути так ловко, что перекрывал или донельзя суживал проезд другим водителям. И, объезжая его, другой водитель, не обязательно эгоистически настроенный, вдруг застревал тоже как-то так ловко, что загораживал остаток проезжей части. А около пристраивался третий, пятый, десятый. А там какая-нибудь длинномерная фура вдруг из-за этого перегораживала вообще весь перекрёсток, а там перед ней застревал встречный трамвай, за ним выстраивался следующий – и начиналось. На дороге всё прекращалось, а в трамвае начиналось. В трамвае тотчас начинались звонки с мобильных телефонов, и летели во все концы штампованные извещения: «Я в пробке, застрял

в пробке, тут пробка, Таня, подстрахуй, Маня подожди, Вася задержи, неизвестно, когда буду, тут такая пробка!...». Конечно, его всё это раздражало. Но он терпеливо сносил. Только про себя говорил:

– Ну почему из-за одной сволоты должны страдать сотни людей! Да издать закон, по которому трамвай имел бы право таранить на трамвайных рельсах любую машину этак слегка. Протаранил слегка одного, протаранил второго – и никто больше трамвайных путей не коснулся бы. Ведь всё так просто! И не будут сто человек страдать из-за одной, мягко говоря, сволоты.

Саня бы ходил пешком. Ходить ему было сверх чем привычно. И эти час-десять его бы только бодрили. Но уже стала поселяться в нём какая-то инерция гражданской жизни, какая-то этакая городскость, этакая урбанистость, этакая вальяжность, когда вдруг привычнее ставало полезть в транспорт и стоять и париться в этих самых пробках. Хотя термин «париться» к поре отправления его на службу никак не подходил. Его остановка была первой после конечной. И приходил он на неё, когда, так сказать, работный люд уже схлынывал. Трамваи приходили практически пустые.

Сегодня вместе с ним в вагон вошли три иногородние девчонки лет по семнадцати и уселись втроем на одно сиденье. Их возраст и иногородность он определил по их первому же вопросу к кондуктору. Они спросили, доедут ли до политехнического института, то есть ныне университета. А это обозначало, что они иногородние и только-только поступили учиться.

Сидеть втроем на одном сиденье им оказалось неловко, и одна встала. Была она совсем маленького ростика, чернявенькая, круглолице-узкоглазенькая, толстоватенькая и криво-коротконогенькая. Саня скользяще, сверху вниз, от лица к грудям, от них к талии и от неё к ногам, как это обычно делают мужчины, оглядел её и даже засмурел. «Ну вот как она выйдет замуж! Влюбится – и будет страдать. А замуж не выйдет!» – в своей смуре подумал он. Она тоже посмотрела на него и тоже скользяще, но не так, как он, а скользяще мимоходом, без какого-либо интереса, статистически, отмечая лишь то, что вот-де сзади сидит старый дурак и не уступит женщине место. Старым дураком мужчины в сорок лет не становятся даже для семнадцатилетних. Но он почему-то прочёл в её статистическом взгляде именно это. Хотя – если она взглядом что-то говорила, значит, взгляд был далеко не статистическим, и Саня, выходит, ошибался.

– Короче, – отвернулась к подружкам чернявочка, или как её назвать для образности, – короче, я в магазин пришла, заняла очередь и побежала в другой. Сюда прихожу, такая, встаю, а меня какая-то тёлка не пускает: ты чо нагла такая? – Я говорю: я занимала! – Она не пускает. Я ей локтем дала и встала.

«Попранная справедливость была восстановлена!» – с улыбкой сказал себе Саня в полной уверенности, что ничуть не стало с восстановлением справедливости, иначе незачем было бы вообще начинать рассказ, который вот так бы закончился.

– И чо? – спросили подружки.

– А ничо, – сказала чернявочка и смолкла.

«Неправда», – отметил Саня насчёт отсутствия продолжения.

– Ничо, – сказала чернявочка. – Она, такая: ты, типа, чо, где родилась, что

у тебя такие манеры? – А я ей: там! – чернявочка вместо этого мало что-либо определяющего местоимения назвала арьергардную, часто бывающую изящной и привлекающей мужской взгляд часть женского тела.

– Да ты чо, Райка! – чувствуя позади себя Саню, то есть, по их предположению, сорокалетнего дурака, смутились подружки.

– А чо, там, говорю! – снова назвала чернявочка тот женский арьергард, который, кстати, у неё самой был далёк от изящности и привлечения мужских взглядов.

– А она? – хоть и смутились, но не смогли удержать любопытства подружки.

– А она: оно и видно, – говорит. – А я, такая: а ты чо, думаешь, ты в... родилась!

«Оп!» – сказал Саня и вдруг заменил название того места, которое чернявочка определила своей неожиданной сопернице для рождения, и которое, собственно, для этого и являлось единственно предназначенным местом, на полинезийское слово «аа», услышанное от эрудита товарища Че, прапорщика Суркова. И у Сани слова чернявочки вышли так: – Ты думаешь, ты в «аа» родилась? А вот... – и опять для обозначения той части мужского тела, которая совокупно с вышеназванной частью женского тела тоже имеет отношение к рождению детей хотя бы на первоначальном этапе, Саня употребил полинезийское слово «уу», отчего слова чернявочки у Сани вышли так: – А вот «уу» тебе! Ты вообще выкидыш! Тебя вообще в... нашли! – сказала чернявочка и, конечно, назвала не то место, где обычно появлялись на свет дети, то есть назвала она не капусту в огороде и не аиста в небе, а назвала она продукт, исторгаемый арьергардной и в данной ситуации не обязательно изящной частью тела, в разных слоях общества именуемый по-разному – кто-то называет его стулом, кто-то продуктом пищеварения, кто-то шлаковым продуктом, а кто-то вот так, как чернявочка.

– Ой, Райка! – сказали подружки.

И он тоже сказал: «Ой, Райка, молодец!».

– А чо, – сказала чернявочка. – Одна тёлка стала звонить моему парню. Прикиньте. Я, такая: типа, ты чо, оборзела? Она: а чо, он твой, что ли? Я: мой и отвали, а то тебе ууево будет! – и опять чернявочка сказала не полинезийское, а довольно русское слово, в иносказании обозначающее плохие последствия.

– И чо? – опять спросили подружки.

– Ай, да. Потом я ей зубы выбила и башку разбила, – сказала чернявочка.

– Да ты чо, Райка! – на миг ужаснулись подружки, а он сказал: «Наш кадр!».

– Она сама с бутылкой полезла на меня, – сказала чернявочка. – Я бутылку отобрала и говорю: не умеешь ни... – ну, то есть, «ни уу», – не умеешь ни «уу», дак я тебя научу! – этой же бутылкой ей по зубам дала, а потом по башке!

«Вот так молодец!» – опять мысленно сказал Саня и подумал, что ни он сам, ни кто-либо другой ни за что не оборвёт чернявочку, не пристыдит, не оттреплет за ухо, что никто никогда не даст отпора русскому молодому дурью и русской пьяни.

А когда вышли с задачи, – это Саня вспомнил после замечания насчёт дурья и пьяни, – когда вышли и он повёл группу косым и пьяным от усталости, но всё же строем, сам – замыкающим, неожиданно на лесном подъёме из оврага ткнулись носом в генеральские лампы. Саня только-только поднял глаза от носков сапог к голове колонны и хотел снова упереться глазами, как клюкой, себе под ноги – а нет! глаза упёрлись в генерала и торчащую за ним из мотора «уазика» солдатскую задницу. Саня задницу проигнорировал, а к генералу глазами прямо прилип. И ему подумалось сначала, не уснул ли он. Потому что такую картинку, какую он увидел, наяву никогда не увидишь, а если увидишь, то перекрестишься. Ведь они вот-вот вышли с задачи. Да нет, не это. Они тащились, а вернее, каждый на трёх точках мотался по грязной лесной овражине среди цепких и сверху нависающих здешних бесконечных кустов, обрыдлых своей непроницаемостью до желанья выжечь их «шмелями» или, по крайней мере, при невозможности выжечь смачно харкнуть в них – и потому именно смачно, что рот в отсутствии слюны распёрло железобетонным коробом, а в башке раскорячилось видение всего, что имело отношение к влаге – даже этот смачный харчок. Они тащились, уже потеряв от усталости всякую осторожность, прикрываясь только одним понятием, что они где-то в расположении своих, совсем, кстати, в этом не уверенные, но уже махнувшие на всё рукой. И вдруг среди оврага, на подъёме, по какой-то причине, ну просто галлюцинацией всторчал генерал при полном параде, то есть при лампах, кителе и фуражке с кокардой. И пока Саня смыкал и размыкал веки в старании определить, не сон ли, не мерещится ли, пока он тягуче ворочал в мозгу, что это и не сон, и не генерал, а обыкновенная подстава, то есть засада, пока он разевал скоробившуюся свою пасть, чтобы крикнуть шедшему впереди колонны Грише о засаде, Гриша поравнялся с генералом, приостановился, как бы всего лишь запнулся, и пошёл дальше.

– Аэ! – начал было Саня кричать Грише, но именно это же он услышал от генерала.

– Аэ... э... боец! – окликнул Гришу генерал.

Гриша лишь дёрнул задом, удобнее пристроил заплечный мешок и оружие. Но Сане показалось, что Гриша задом дёрнул глумливо, и обмер – вдолбленную субординацию никуда не выкинешь. Но обмер он так устало, так равнодушно и немощно, что и сам почувствовал ложь своего испуга. Догадка о засаде от дёрганья Гриши стёрлась сама собой, и на её место вновь угнездились осоловелое, старо-лошадиное равнодушие: усталая лошадь легла в борозду, и ты над ней не ахай... – бородатый армейский фольклор с некоторым продолжением, на которое уже сил не было. И он подумал, смыкая веки, что генерал ему примерещился.

У генерала же, видно, шок от Гриши прошёл быстрее, чем у Сани от самого генерала.

– Боец, ты кто, какой части? – услышал он генерала и снова поднял глаза.

Генерал, хотя и растерянно, но уже навис своей громадной фуражкой над Добрей, сержантом Добрыниным. Но того мешок потащил в сторону. И Добря миновал генерала.

– Стоять! – было крикнул генерал, но вдруг схватил за рукав следующего за Добрей снайпера Шурупа. – Боец! – схватил он Шурупа за рукав.

Шуруп кое-как поднял голову, вывернул рукав и прошёл мимо. Генерал явно покрылся испариной, если и без того не потел в своих лампасах и кокарде на разгорающемся солнце. «Что-то здесь не так!» – наверняка забулькало у генерала. Хоть тот же армейский фольклор указывает разницу между лейтенантом и генералом – лейтенант долго достаёт, а генерал долго ищет – но ведь нельзя полностью отрицать, что у генералов вообще в связи с этой вводной ничего не было. Ведь долго ищет – это значит есть что искать, или, по крайней мере, он на это надеется. И Саня даже в своей непреходящей лошадиной дрёме на ходу увидел – генерал впал в давно не посещавшее его недоумение. Он даже наверняка покрылся испариной. «Ищет!» – только и определил за генерала Саня, а чего ищет, того у Сани в голове, в его единственной на этот час извилине, уже не уложилось.

А генерал хватил шедшего за Шурупом товарища Че, прапора Чеку. Как-то всегда так получалось, что Чека находился не на своём месте. Не в том плане находился он не на месте, что не на месте. В этом плане Чека фору давал пятерым матёрым бандерлогам с офицерскими погонами. В этом плане Чека всегда находился на месте. А в том плане был он всегда не на месте, что... – одним словом, хорошо, что он был прапором и карьеру ему не надо было делать. В общем, прапор Чека шёл четвёртым, и генерал вцепился в него.

– Боец, я спрашиваю, какой ты части! – кажись, даже взвизгнул генерал.

Чека понуро сделал шаг в сторону, обогнул генерала и снова встал в колонну.

– Мужик, иди ты на ..., а! ну что ты пристал! – услышал Саня в густой и прямой духоте оврага ровный и немного просящий голос Чеки, называющий генералу не зашифрованный под Полинезию, а прямой русский адрес.

4

В это время приспела остановка «Профессорская» – не в овраге, разумеется. Девчонки суетливо потащились за чернявочкой к двери.

Он посмотрел на всех троих сверху – пехоте на этот раз хватило три сто! – увидел, как обе девчонки мышками суетились в старании поспеть за чернявочкой. Она же легко буравила толпу, и чёрная с густым жёстким волосом её голова будто служила ей тараном. «А ведь выйдет замуж!» – подумал он, и ещё подумал, что, пожалуй, муж будет у неё под пятой и будет подпяточностью доволен.

На углу Гагарина трамвай немного поперепихивался в пробке. Саня снова подумал о своём законе слегка таранить автомобили на трамвайных путях. Пока перепихивались и дёргались, по сантиметру завоёвывая рельс, позвонил друг Костя, попросил купить «Областную газету» – что-то там его заинтересовало, а купить было не с руки.

– Куплю, если хотя бы к вечеру доеду до службы! – сказал Саня.

Но, на удивление, он доехал до своей остановки быстро, и едва ли не в досаде буркнул:

– Ну, не к добру!

Тротуар около здания бывшего «Облэнерго», а теперь как бы даже некоего вертепа различных контор, конторок и подконторниц, как всегда, был перегорожен. «Перманентно перегорожен!» – отметил Саня любимым словом товарища Троцкого. «Лозунг перманентной революции не должен сходиться со злобы дня!» – нечто к такому, по крайней мере, по словам учёного Чеки, призывал товарищ Троцкий, то есть призывал революцию творить беспрестанно. Так же перманентно, будто польский легионер, тротуар был опоясан бело-красной лентой. Перманентно на фасаде несчастного здания что-то перекраивали, перекрашивали, перевешивали, перебивали, переносили, перевыламывали и перезаделывали. Постоянно поперёк тротуара и враскоряк стоял автокран, или елозила по фасаду автовышка с корзиной, в которой, будто агээс, автоматический гранатомёт, долбил отбойный молоток, а с земли на корзину задирали головы штук пять руководящих работников в галстуках и штук пять работяг в касках и униформах с лейблами своей фирмы. Они совсем не смотрели ни на кого вокруг – только вверх. Их старались обойти. Но в оставленном проходе это сделать было невозможно. На них натыкались. Их толкали. Им высказывали. Но они ни на кого не обращали внимания. Они смотрели вверх. И в целом было непонятно – зачем они здесь и зачем они смотрят вверх. И было непонятно, что именно там менялось, что и кого там не устраивало. С тротуара этого не было видно. Не было этого видно и с проезжей части проспекта, и с противоположной его стороны, так как кренистые рослые липы закрывали здание до четвёртого этажа.

5

А они тогда не удержались. Это непрофессионально. За это с должности снимают. Но они не удержались и на обратном пути в той купе лип поставили три растяжки. Так молча кого-то слушать и так скрытно вести себя, что Саня едва не выперся к этим липам, а потом вдруг возмущённо и враз загалдеть и тут же, как по команде, смолкнуть – так сможет только воинское формирование. И на обратном пути Чека не удержался поставить там три растяжки. Обрато возвращаться пришлось тем же местом не по своей воле. Это простилось. А про растяжки он не стал докладывать. Не такая уж сугубая организация у нохчей, чтобы после подрыва на тех растяжках вдруг спетрить, что была тут группа глубокой разведки, и теперь всё надо передвигать, перепрятывать, переиначивать. Если и подорвались, то наверняка свалили на кого-нибудь из своих же, да ещё устроили разборку, да ещё маленько постреляли друг в друга, да ещё до десятого колена затаили друг на друга злобень. Чека – умный!

Около красно-белой ленты в толчее и около этих, с задранными башками в касках и галстуках, Саня вспомнил, что обещал Косте купить «Областную», и пошёл на почтамт. В вестибюле почтамта полненькая светленькая газетчица ему улыбнулась. «В меру полненькая!» – подумал он и тоже улыбнулся.

– Вот посмотрите, сколько у меня газет, и все свежие, и все интересные! – сказала она.

– Интересные, как вы? – отважился он на лёгкую пошлость.

– Во много раз интереснее! – сказала она.

А он почувствовал, что пошлость прошла, то есть комплимент газетчицей был принят. Ну да и пошлость ведь была всё-таки лёгкой.

Он взял два экземпляра, ещё раз улыбнулся, вышел на крыльцо и только тогда посмотрел на дату, да и то случайно.

– Э! Барышня! А ведь!.. – поспешил он к газетчице.

– Что? – во внимании свела она светленькие свои бровки к переносью.

– Да ведь вот! – показал он на дату каких-то едва не весенних пор.

– Ах! – вскинула бровки и округлила глазки светленькая газетчица, посмотрела остальные номера газеты и ещё более вскинула бровки: – Ах! – и даже во что-то вроде испуга впала, и даже в этом испуге взглянула на него, дескать, что же он о ней подумает! «Ах, мошенница! – подумает. – А ещё такая светленькая и полненькая – в меру! – подумает».

Он это в ней увидел, про себя заулыбался и вспомнил чернявочку, её, так сказать, безыскусный и незлобивый рассказ. И он снова вспомнил Чеку, вспомнил его ровный и немного просящий тон: «Мужик... иди ты на ... а! Ну чо ты пристал!» – Потом, когда ржали, когда нашли сил ржать, Чека, прапор Чека, товарищ Че, Божьей милостью бандерлог, но умны-ы-ый, не веря ржачке, спросил:

– А чо, правда, что ли, был генерал?

– Да ты чо, товарищ Че, совсем, что ли, спал по дороге? – едва не в голос спросили его.

– Ни хрена себе! Я думал, засада. А воевать уже нет сил! Ну и послал его. Всё равно ведь было подыхать! – признался Чека.

И пока светленькая с испуганными бровками газетчица, оставив его караулить товар, побежала выяснять, каким макаром ей подсунули газеты времён едва не царя-батюшки, подошла или, вернее, при-ко-ма-на-ла, кажется, так у них, у англосаксоподражателей, прикоманала всхолённая гелз с, как ей самой казалось, иностранным взглядом, в котором если что-то и должно было быть прочитываемо, то только название фирмы, которой она служила.

– Мужчина! – строго, как ей казалось, но на самом деле с какой-то претензией раскрыла она якобы фирменные губы.

Саня усмехнулся, правда, про себя.

– Мужчина! – снова сказала она, положив, что он не услышал. – Мужчина, не могли бы вы за подарок ответить на несколько вопросов?

– Нет, не мог бы, – сказал он.

– Это за подарок. Всего десять минут, и вашей жене будет подарок! – сказала она.

– Да вот я караулю! – попытался он отвязаться.

– Я подожду, – сказала она.

И действительно, она осталась ждать. Она чуть отошла в сторону и бесстрастно стала смотреть только в одну точку, явно видя себя со стороны принадлежащей только фирме. И потом она привела его в кабинет здесь же, на почтамте, усадила напротив и с фирменной бесстрастностью стала ему задавать вопросы о каких-то иностранных карамельках, которые он отро-

дья не брал в рот да, собственно, и не собирался в свои мужичьи сорок лет брать.

– Вы употребляете вкусные и сочные конфеты фирмы «Тыр-быр фак ю»? – спросила она и показала ему упаковку.

– Нет! – сказал он.

– А хотели бы вы употреблять вкусные и сочные конфеты фирмы «Быр-тыр ю фак»? – она снова показала упаковку и далее, совсем не обращая внимания на его постоянные отрицательные ответы, спрашивала его таким же, как и у чернявочки, нерусским языком, нерусскими агрессивными предложениями уже без знаков вопроса, уже не в качестве предложения – в смысле: предлагать – а в качестве жёсткого утверждения.

– Я бы съел вкусные и сочные конфеты фирмы «Тыр-быр куда-то там гоу» целую упаковку! – говорила она за него.

– Нет! – говорил он.

– Я бы съел вкусные и сочные конфеты фирмы «Быр-тыр гоу куда-то там» целую упаковку! – говорила она название следующей фирмы.

– Нет! – говорил он.

– Я бы съел... – как пресс, давила она.

– Я бы вообще ничего никогда не съел! – не выдержал он и прибавил, что не стал бы есть именно с этой минуты.

Она на него не взглянула. Она снова сделала пометки в своих опросных листах и перешла к другому утверждению, на которые он так же отвечал словом «нет» и по окончании опроса не сдержался спросить:

– А что, девушка, как-то по-русски эти вопросы нельзя было построить?

Спросил в пустоту и пошёл, не взяв подарка. Она вскричала ему вслед: «Мужчина! Возьмите подарок!» – он же только отмахнулся, и хорошо, что не сказал того, что сказал Чека генералу. А потом вдруг её пожалел: может быть, она простая русская девушка, смешливая и кокетливая, а поступила в эту вкусную и сочную фирму работать – и была вынуждена ломать себя.

6

Проспект в этой части был широк, а светофор на зелёный свет скуп. Пешеходные народы по этому обстоятельству вели себя, будто новобранцы первый раз в поле. Бежали они через проспект беспорядочно, рвано, мешая друг другу, в лихорадке не успеть. Водители пешеходной зоны не видели, ломили через зебру с удвоенным удовольствием. Это тем более сбивало пешие народы в кучу, то есть ещё более мешало. «Бараны! Держитесь правой стороны! Вот так же вы себя ведёте за рулём!» – думал Саня, и ему свербило умотать в лес, в поле, то есть в горы, на задачу, где, как говорил Костя, любая улица в два конца твоя. «Если даже на ней дорожные знаки расставляют воины ислама!» – прибавлял Саня.

Вместо гор и задачи, однако, он перешёл от почтамта на свою сторону. Народу улица Пушкинская против других улиц содержала заметно меньше, как бы располагалась не в центре города, а на сельской окраине. Только около фруктового киоска с выставленными прямо на тротуар картонными ко-

робками с яблоками кучкой, или, сказать, купой стояли несколько женщин из соседних контор. И вдали, около бывшего Дома профсоюзов, чёрными сожжёнными бэтэрами громоздились на тротуаре чьи-то шибко крутые авто. Проезжая часть улицы была забита транспортом. Где-то поставить машину, или, по-нынешнему, припарковаться, было просто невозможно. И в бакшише был тот, кто приезжал с утра пораньше. Так сказать, кто первым сел, тот всё и съел. И, помнится, одно время улицу взялись пасти ушлые ребятки – то есть взялись за стоянку брать деньги. И, помнится, он однажды попал к ним под раздачу. Бригада только что перебралась из ныне суверенной республики сюда и обустроивалась. Он приехал по делам в местный штаб ведомства товарища Шойгу, которое располагалось на этой же улице. Кое-как он пристроил свой армейский «уазик» сбоку припёкой и подался к дверям штаба. Но вынырнули двое в штатском – шутка! – вынырнули двое людишек, как и положено, такой категории или изображающих такую категорию, ссугорбленных и бритых, но уже не синих, хотя ещё и не совсем накачанных, без складок на затылках и пока ещё без дорогих перстней.

– Летёха, ты, это, в натуре, не торопись! – как бы даже вежливо и как бы даже устало вот от таких непонятливых, как Саня, приехавших и куда-то, задрал рыло, побжежавших, устало, в нос и в растяжку сказал один.

– Короче, за постой платить надо, командир! – сказал второй.

А с каких барышей он, офицер Красной Армии, как они то ли в ностальгию, то ли в издевательство над собой любили называть себя, с каких-таких правительственных щедрот он будет платить, когда не то что не получали, а даже запах денежного довольствия забыли.

– Короче, – сказал он им как можно приятельски. – Короче, я готов взять у вас любую сумму!

– Тебе чо, колёса лишние, командир? – спросил второй.

Было очевидным – оба не служили, оба сидели. И оба его форму воспринимали формой вертухая, или как они там называли служащих работающего с ними ведомства. А у него вот этакий с самого его лейтенантства, то есть с того самого летёхи, стали вызывать не столько злобень – что уж там со злобенью, шибко мелко! – у него этакий стали вызывать жуткий внутренний холод. Злобень с некоторой поры стали вызывать вообще пиджаки, все эти гражданские, разболтанные, говорливые, вёртко-скользкие, умные и одновременно анемичные, одышливые и трусливые, но снисходительные к ним, к армейским, как к недоумкам. Всё, что оказалось за зелёным забором, все эти пиджаки своей беспорядочностью и непорядочностью у него стали вызывать злобень. А такие, а этакий – они вызывали уже не злобень. Они вызывали жуткий холод, ну прямо лёд они вызывали где-то в брюхе. Враз у него там смерзлось.

Между машин было не очень удобно. Но он въехал первому, ближе стоящему, сапогом в колено – пах пожалел, всё-таки не совсем, видно, смёрзлось брюхо, – въехал сапогом ровнёхонько в колено и торцом ладони – в переносье. А второго, взявшего с места аллюром, он достал через несколько шагов, приволок обратно, подбил сзади ему ноги, положил рядом с его, так сказать, товарищем и прошипел:

– Убью!.. Обоим сидеть здесь и ждать меня!.. «Уазиком» по тротуару размажу!.. Поняли, сучата?

Логики в его шипении было хрен да маленько, ибо где же он их достал бы, если бы они сбежали. И что бы он стал делать если бы они привели сюда свою бандитню, или бы, того хуже, проткнули бы колёса, а потом убежали? Хотя первый визжал с проломленным коленом – и уползти-то не мог, а только гнал визгом прохожих на противоположную сторону улицы. Но всё же логики в его шипении не было. И логика здесь не была нужна. Логика – это у пиджаков, в их словосотрясениях, в их презрении ко всем, кроме себя, в их неприятии всего, что не касается лично их, их спокойствия и благополучия, собственного, личного благополучия, не распространяющегося даже на их родителей, жён, детей. Так он считал тогда, и всю логику мнил за пиджаками. А в такой ситуации, которая вышла у него с этим вшивьём, логики не было надо. Их надо было просто давить. И он легонько долбанул в нос второго:

– Ты понял? Ждать меня здесь!

– Понял! – захлёбываясь кровью, сказал второй.

– И этому утри сопли! – приказал он.

– Понял, – сказал второй.

– Гранату без чеки в руку дать? Держать до моего прихода будешь? – спросил он, хотя гранаты у него не было.

– Нет, – сказал второй.

– Будешь ждать без гранаты? – спросил он.

– Буду, – сказал второй.

– Скорую вызовите! – провизжал первый.

– Вызову, – пообещал он.

Никакую скорую он не вызвал и не подумал вызвать, а когда вернулся к «уазик», подле уже никого не было.

И потом была у него на этой улице ещё история, как бы отличная от первой, но в чём-то ей сродни. Костя нашёл ему представительство одной московской фирмы, и он заступил в должность, то есть сел в мягкое вертявое кресло в большой комнате отданного ему в распоряжение офиса – сел в привычной уверенности, что сотня, как в бригаде, обязанностей сорвёт его с кресла, и он никогда более не коснётся своей тыльной частью его хрустко скрипящего, но и якобы всё понимающего и всё принимающего, то есть, получалось, беспринципного устроища. Он и к креслу тоже отнёсся с разговором, как отнёсся утром к квартире и к цветам около подъезда, как и вообще ко всему. И понравилась ему эта кресловая чёрная, ласкающая беспринципность. Но, наученный в службе служить, он не поверил в своё пребывание в этом кресле и ждал, что новая служба сорвёт его сотней задач.

Из всех посетителей в первый день он принял только зелёную муху. Она залетела из холла, когда он вышел размять ноги, и прижилась, не особо-то ему мешая. На второй день он в полной тишине стал вспоминать, нет, не то чтобы стал вспоминать. На второй день воспоминания пришли сами. Он счёл абсолютно неуместным служебное время, которое ему, кстати, и в отличие от армейского хорошо оплатили авансом, использовать в личных целях, то есть предаваться воспоминаниям. Но они полезли. И на третий день, весь изнерв-

ничавшийся от своего служебного несоответствия, он позвонил в фирму и доложил, что ничего не делает и даже по отсутствию задачи и в опаске что-нибудь сделать не так, никаких самостоятельных действий не предпринимает, да и представить не может, что именно предпринять.

– Вы на работе, Александр Михайлович? – спросила фирма.

А он посчитал ложью сказать, что он на работе, потому что никак не мог признать работой полезные воспоминания и сожительство с зелёной мухой.

– Но вы на рабочем месте, вы в офисе? – переспросила фирма.

– Я в офисе! – подтвердил он.

– Ну, так, значит, всё путём. Чего вы волнуетесь! Главное, вы на рабочем месте. Как у вас там раньше по службе было, в схроне, что ли. Займите себя чем-нибудь, ну вот хотя бы составьте характеристики стрелкового оружия.

– От первых пищалей или от арбалетов? – начал уточнять он, да вдруг догадался, что задачу ему ставят от чирья, так сказать, в снисхождении, в начальнической сообразилровке о том, что у отставного Аники в одном месте взбух этот чирей, и сидеть Аника не может.

Он догадался и было вспыхнул, но быстрее, чем вспыхнул, почувал, что других задач не будет, и он посажен сюда в качестве отвлекающего предмета, в качестве кота в засаде Чеки – о коте и Чеке как-нибудь потом – а в тот миг он это почувал и сказал себе: «Значит, «Рога и копыта», а я Фунт!» – И он бы оставил эту фирму с её единственным посетителем, зелёной мухой, оставил бы тотчас после этого разговора, но не успел он дослушать остальной начальнический трёп, как пришёл Костя.

– Ты точно контуженный, Саня! У тебя времени херова туча! Ты радуйся, что ничего не требуют! Сиди и пиши мемуары! Усталая лошадь легла в борозду, ты над ней не ахай, есть двадцать – посылай всех в узду, есть двадцать пять – на сук! – сказал Костя армейским фольклором и, как сегодня чернявочка, адрес назвал без шифра, открытым текстом.

А он надул щёки и набычился. Невозможно было ему, матёрому бандерлогу, имеющему очень не последний номер в списках нохчей по оплате его головы, понять маленькой истины, с какого такого бугра его посадили на место, в лучшем случае предназначенного для какой-нибудь фифочки.

– Я, Костя, ничего не пойму! – сказал он.

Он действительно не мог понять своего положения. Он мог его понять только так, что его положение старого матёрого бандерлога здесь, в пиджачном мире, ноздрь навывыворот, никому не было нужно, что его вернули к самому началу, как будто он только что закончил школу и вполне мог принять за счастье любое фифочкино положение. Об этой фифочкиной службе или, как фифочки её называли, работе, он был наслышан, и всегда изумлялся полному несоответствию того, чем фифочки занимались, с тем, как это они называли. В его восприятии работа предусматривала физическое усилие, а служба предусматривала усилие характера и души, чего в нынешнем пребывании фифочек в офисах, как, наверно, и самих боссов, обыкновенно не велось и не предусматривалось уставами этих офисов и фирм. Он был наслышан о, так сказать, фифочкиных службах и, так сказать, фифочкиных работах. Каковая она была, эта служба или эта работа, на самом деле, он не знал, но в словах

тех его товарищей, таких же бандерлогов, кто о них говорил, служба и работа фифочек заключалась в умении быть под столом и шевелить губками – и не ботфорты целовать, как нам досталось знать о временах каких-нибудь Аракчеевых и Бенкендорфов, а шевелить губками чуть выше ботфортов. У него не хватило сил поверить в это. Он не верил в это. Но знание об этой стороне фифочкиных служб и работ как бы подтверждали многочисленные «Лексусы» и «БМВ», осёдланные этими фифочками. Разумеется, это были далеко не «Лексусы» и «БМВ», а были авто гораздо пожиже «Лексусов» и «БМВ», но он как-то раз окрестил их именно этими марками, и потом не затруднялся по-другому называть. И, глядя на них из трамвая, он отмечал какую-то всех фифочек абсолютную отстранённость, будто они не торчали в пробках и будто их нигде не ждали, будто они ехали только по своей воле, будто они не были вообще никому нужны, будто от них ничто не зависело и не зависело только потому, что они были выше всякой связи с кем бы то ни было. Они равнодушно снимали рычаг скоростей с нейтралки, если в их «Лексусах» и «БМВ» эта операция ещё предусматривалась, равнодушно несильным толчком проезжали метр расстояния, опять останавливались и кукольно-целлулоидно застывали. Ему в этот миг хотелось отметить, что они застывали чугунно. Но их равнодушие, их холодность и их как бы отсутствие в этих самых «Лексусах» и «БМВ» его перелаamyвали. Ему становилось жалко чугуна, только-то кипевшего и застывшего. Он находил, что с них хватало и целлулоида. На какие средства были приобретены эти «Лексусы» и «БМВ», он не гадал, потому что приходило сразу и приходило первое – за умение работать под столом.

Вот так он принял попервоначалу своё положение. И Костя ему сказал, что он точно контуженный.

– Тебе какое дело, Саня! Тебе какое дело, бандерлог ты мой! – навис над ним Костя. – Твоими именами надо улицы называть. Смотри, как звучит: улица Михайлова-Бандерлога!.. А? – Скажите, – это, например, какая-нибудь бабушка к тебе обращается, – Костя, конечно, вместо слова «бабушка» сказал слово, начинающееся с этой же буквы, но гораздо более короткое, гораздо более односложное и даже совсем односложное слово. – Скажите, молодой человек, как проехать на улицу Михайлова-Бандерлога! – А? Звучит?.. А ты ей, как поручик Ржевский, сразу же: А не исполнить ли нам... – Костя опять вместо слов «не исполнить ли» сказал определяющее слово из лексикона поручика Ржевского. – А? Саня! Звучит? – и совсем утверждающе прибавил: – Звучит! Вот так-то, друг мой! Это моим именем улицу никогда не назовут. Разве что – переулок какой-нибудь. А то вообще – тупик! Тупик имени Кости Кравца. Вот так, не Кравца, а Кравца!.. А? Ничо?

– Ничо, – квакнул он, но щёки надувать не перестал.

Никак в него не входило то, что его, матёрого бандерлога, ну и, если уж официально, его, командира батальона и орденоносца майора Михайлова, посадили на место фифочки, которой самый раз здесь сидеть и от нечего делать – шефа ведь нет, чтобы нырять к нему под стол! – сидеть да бровки выщипывать.

– И не только бровки, а ещё и лобок! – прибавил Костя.

Костя не был ни матерщинником, ни циником. А казарму на себя он напу-

скал по обыкновенному мальчишеству, в котором остался, несмотря на Афган, полковничье звание и степень доктора наук.

Так вот, пока Саня надувался, подкатила подлинная фифа с уже пощипанными бровками и величиной с нынешнюю чернявочку, только против неё шибко тощая – с ударением на «а» – тощая, узкоротая и колченогая. Чернявочка была кривоногенькая, а эта – колченогая, то есть как бы насчёт ножек чернявочки похуже. Женщин он за всю свою жизнь в лесах и полях, то есть горах, и на задаче перевидал столько, что умещались они в то самое определение «хрен да маленько». Но даже при всём при этом подкатившая фифа была нихт, то есть найн, то есть вообще Гитлер капут. Тощая, колченогая, без той тыльной части, при взгляде на которую у мужчин вдруг возникает не только эстетический интерес, вот такая, от плеч до колен без каких-либо всхолмлений, узкоротенькая и с выщипанными бровками подкатила к нему фифа. Увидев её, он привычно заперезживал, привычно заболел душой, как ложно заперезживал нынче за чернявочку, мол, замуж не выйдет. И потом он долго переживал другое. Потом он переживал долго своё неумение видеть людей. Это стало ему новым. Оказывалось, видеть людей под формой одно, а видеть людей под фирмой – другое. Этак он опять съёрничал. Но выходило, под фирмой, то есть в обычной пиджаковой жизни, видеть людей было делом намного более сложным.

Хотя, бывало, и там по какой-то своей выпендрёжности он не мог увидеть человека. В Ботлихе, в августе девяносто девятого, он заглянул к своему знакомому начпроду. Рота не жрала второй день. Не кормили потому, что рота ещё числилась на махачкалинском аэродроме. И он пошёл к знакомому начпроду. В палатке у начпрода сидели мужики и глушили водку. Начпрод сунул ему полкружки:

– Пей, Саня!

А ему стало тошно. В километре вертушки таскали шеренгами на Абдал Забазуль солдатиков и шеренгами снимали оттуда двухсотых – причём непрерывно: туда и оттуда, туда и оттуда. Говорили, руководил операцией какой-то эмчесовский генерал, возжаждавший Звезду Героя на грудь и гнавший солдатиков на Абдал в лоб. В километре была самая настоящая бойня. А здесь будто не было войны. Здесь бухали и травили анекдоты.

– Да пей, Саня, не грузись! – сказал начпрод.

Он хряпнул и ушёл. И отчего-то он запомнил одного капитана. Распоясанный, расхристанный, какой-то изверченно-искроченный, с бабским, без щетины, и испитым лицом был капитан, был, сидел в палатке начпрода, жрал водку и хрустел маринованными огурцами. «Вот же скот!» – сматерился он на капитана. А через день начпрод его поймал и сказал, что капитан... – «Помнишь капитана? У меня был, когда ты приходил», – этот капитан сгорел в бэтээре, до последнего прикрывал своих ребяток.

Вот так прибежала фифочка, брызнула ему слезами:

– Только вы можете меня выручить! Меня только что из офиса в доме напротив выселил хозяин! Нам некуда деваться! Хоть на два-три дня, пожалуйста, пустите! А то все наши бумаги, вся наша оргтехника просто лежит на тротуаре!

Саня сам перенёс её скарб, то есть бумаги и компьютеры, и был собой доволен, был доволен тем, что хоть на этот раз сумел увидеть человека. Правда, зелёная муха тут же куда-то слиняла. До того она три дня упорно билась рядом с открытой форточкой, а тут быстро сообразила. «Вот же, едрёна мать!» – сказал он ей вдогонку, то есть не вдогонку, а обнаружив на какой-то день фифочкиного вселения её отсутствие. И он стал жить в этом цветнике, в этой благоухающей всеми оттенками цветочных запахов клумбе из дюжины женщин под постоянным прицелом их сияющих в него глаз. Он стал пребывать в этом цветнике сам не свой. И его хватало только подивиться тому обстоятельству, что большая часть этого цветника были или незамужними, или разведёнками. «Нету мужиков!» – говорили незамужние. – «А это не мужики!» – говорили про бывших мужей разведённые. Ему это было странным. Ему это было просто непонятным. В бригаде практически каждый офицер или прапорщик, за вычетом разве что Чеки, был женат. Служба была в бригаде, то есть вообще в их ведомстве, ну просто мёд с вареньем, присыпанная сверху сахарной пудрой. За такую службу, конечно, не платили – а что платить, коли и так до скуловороченья, до вывиха ноздрей служить было сладко. Счастьем было, если вечером перед уходом домой удавалось заполучить у завстоловой буханку хлеба.

– Ребята! Мужики! Товарищи офицеры! Ну не могу я вам хлеб раздать! Мне солдатиков надо кормить! Меня же под трибунал отдадут! – рвал китель завстоловой.

Но по какой-то самим установленной очереди он каждый вечер кому-то хлебушка всучивал. И было за счастье лететь орлом домой и нести в клюве своей орлице и своим орлятам этот хлебушко. И никто ни от кого не уходил. И, получалось, тем женщинам мужики были. А этим женщинам мужиков не было. Станным ему это было. И странным ему было ловить их сияющие в него взгляды. За его пенсией в шесть тысяч, ну, плюс две за боевые, за его восемь тысяч пенсии и за его ранения с контузией, принёсшие ему скачущее давление и списание в пиджаки, они видели мужика. А за хорошие зарплаты, за «БМВ» с «Лексусами» и внедорожниками они мужиков не видели.

Фифа была русской, но с какой-то литовской фамилией Скунсус или Скунсус – причем не Скунсене или Скунскене, как того требует литовская грамматика для замужних женщин. При своей страшности она была счастлива замужем, о муже и малом дите говорила с придыханием. И вообще она с ним, с Саней, тоже говорила с придыханием. Он этого придыхания стал сразу бояться. Это придыхание его стало волновать.

– Это ничего, что я просилась только на два-три дня, а нахожусь у вас уже месяц? – спрашивала с придыханием она.

– Это ничего, – кивал он и старался тотчас же найти занятие или просто отойти от неё на расстояние.

И однажды в понедельник он пришёл к себе в офис, уже за несколько шагов не угадывая привычного гула женских голосов и гула женского аромата. Он взялся за дверную ручку и на мгновение замер. Это было похожем на то, как если бы он замер, задев растяжку. А если точнее, то так замирает зелёный пацан. Ведь четыре секунды даёт судьба. И если сразу почувствовать тот миг,

когда коснулся растяжки – тогда судьба даёт четыре секунды. И такое было. За четыре секунды успели все брякнуться наземь, а он, Саня, как теперь принято в российских вооружённых силах, успел закрыть собой ближнего к взрыву бойца и, кроме прочих осколков, получил сквозной осколок в голову. И потом, сказав по связи, что есть два трёхсотых: он, Саня, и боец с ранением в чушку, разделившись на две группы – одним продолжать задачу, другим нести Саню – бегом, шесть часов бегом несли Саню до места, где смогла приземлиться вертушка. А бойцу, пацану, от души напинали – какого хрена не брякнулся, как, стёрши глотки, учили отцы-командиры, и напинали в назидание, чтобы остаток жизни благодарил судьбу в виде Сани, то есть благодаря Сане задевшую его только по чушке да и то касательно.

И Саня в понедельник за несколько шагов до офисной двери почувствовал отсутствие уже ставшего родным гула женских голосов и гула женского аромата.

Дверь была незакрытой. В офисе не было ничего. Не было даже кресла. О зелёной мухе, заблаговременно смывшейся в форточку, уже говорилось. В офисе у Сани не было ничего.

Он купил и кресло, и компьютер. Он заплатил штраф за жуткий перерасход электричества сверх лимитов. И он – вот уж подлинный дурак – нашёл фифу, и пришёл, и сказал, мол, как же так.

– Мужчина! Вы кто? Я сейчас вызову охрану! – с абсолютным презрением во взгляде и полным отсутствием придыхания завизжала фифа.

И женщины в него не сияли взглядами. И – это он потом отметил – в момент его прихода и за несколько шагов до его прихода не было гула женского аромата. Вот так странно случилось с женщинами.

7

Саня вошёл в свою улицу Пушкинскую, по пустынности, то есть по малолюдности, как бы сельскую улицу. Сожжёнными и беспорядочно брошенными бэтээрами привычно около Дома профсоюзов торчали несколько иномарок. Привычно, будто на развод караула, вышел из Дома профсоюзов красивый задумчивый мужчина. Он красиво и задумчиво затянулся сигаретой. Он всегда прогуливал себя и, наверно, большую часть рабочего времени он прогуливал себя. Он Сане напоминал американцев поры их совместных учений, то есть не учений, а соревнований. Великий Паша Грачёв, министр обороны, сговорился о таких соревнованиях. Ехать в Америку у Паши явно не было грошей. Он пригласил Америку на уральские зелёные просторы. Приехали крупные, накачанные, затылистые, уверенные в себе и снисходительные к ним, к Саням, Чекам, Добрям, Шурупам и прочей кильке и хамсе, к всему этому позору нации, имеющему, однако, гонор именовать себя спецназом гереу. Весь сей позор нации на своих заокеанских коллег набычился, подобрался пустым брюхом так, что прилипли к рёбрам не только кишки с печёнкой, а и те мужские достоинства, которые полинезийцы именуют словом «уу».

– Товарищ капитан, ноздрь навывих, а мы их сделаем! – сказали они Сане.

– Да уж прошу, чтобы не приказывать! – впервые тогда сказал Саня свою знаменитую фразу.

Домой, в свой заокеан, те поехали такие же накачаннные и затылистые. Но надломчик от устроенного им облома сокрыть они не смогли. Этот надломчик очень даже можно было видеть, так сказать, невооружённым глазом, и не надо было для этого шурупчиковой снайперки. Облом был таким, что, докладывали, у Паши Грачёва поначалу кривая, как бы всё-таки держащая удар, улыбка в конце превратилась в свирепую. А тут ещё Чека в упражнении «засада» купил их, как шуку на загнутый гвоздь, точнее, как курят, купил он их на чёрного кота.

– Я вообще-то берёт кота для лучшего случая. Но для дорогих гостей – не жалко! – сказал Чека.

Таких вот коллег из заокеана напоминал Сане этот красивый задумчивый мужчина, ставший неотъемлемой принадлежностью Пушкинской улицы. Костя рассказал, что мужчина был комсомольским работником. Костя тогда служил в политуправлении округа, пару раз пересёкся с ним. Красивый мужчина ничего не делал, ничего не решал, никогда не брал на себя ответственности. Он только задумчиво и внимательно, немного за спину смотрел всем, с кем разговаривал, будто видел там горизонты коммунизма, к которым так безыдейно и безответственно повернулся задом его собеседник. И этим взглядом он навсегда обеспечил себе карьеру сначала комсомольского работника, а теперь работника, в любую минуту могущего ходить по Пушкинской улице и в значительном выражении лица и в значительной позе курить.

За несколько шагов до офиса Саня услышал требовательную трель телефона и мягкий голос секретаря. Времена, когда ему приходилось просто сидеть и бороться с воспоминаниями, прошли. Его задачей, если считать по-старому, было наблюдение. Фирма на Урале располагала определённой производственной собственностью. В наработку авторитета фирмы он был обязан устанавливать степень качества потенциального партнёра с тем, чтобы фирма могла знать, что имеет дело только с элитным партнёром. Сама фирма, как Саня догадывался, горела синим пламенем, платила Сане в полном соответствии с его прежней службой и столько, что Саня со своей пенсией против фирменной зарплаты казался себе олигархом. Но фирма посадила Сане секретаря. Всей задачи секретарю, вальяжной женщине, ещё не потерявшей остатков красоты, было охать и говорить, что ей надо найти другую работу. Саня секретаря стеснялся. Сначала он верил её словам о другой работе, потом понял – женщина здесь была на своём месте, ибо ничего другого делать не умела. Саня тоже, кроме как воевать, ничего делать не умел. Так они и сидели, так и ждали, когда фирма сторит.

Секретарь тотчас наговорила Сане кучу новостей про то и про это, про то, что показывал вчера телевизор, про то, что писали «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и «За здоровый образ жизни», про то, что сказали Путин с Медведевым, Кондолиза Райс, Миша Саакашвили и девушка с косою Юля – не надо забывать, что все они были видными политическими деятелями современности. Сказала она про своего кота, совсем не интересующегося кошечками, и своего мужа, совсем не интересующегося ею, про дочь, у которой

на работе из-за шефа не совсем было всё в порядке, и внука, который рос ну совершенным ангелом и вундером. После этого она спросила, не надо ли Сане чаю, снова рассказала про то и про это, то есть уже про другое то и это – про подругу, абсолютную неумеху и растяпу, но от которой муж до сих пор был без ума, про сына другой подруги, плотно подсевшего на иглу и всё тащущего из дома, про абсолютно невкусную, какую-то кисло-мыльную, купленную вчера в супермаркете копчёную колбасу. И про многое другое стала говорить Сане секретарь. Сане всегда при её разговоре было стыдно, будто он был ответственен за секретаря. Прервать же её у Сани не хватало характера.

Он вспрял, когда она сделала себе передышку и пошла за почтой. Он тотчас стал звонить Женечке. Он уже набрал несколько цифр её номера, но вдруг остановился, успокаивая сердце. Пока успокаивал, ненароком посмотрел на стол секретаря, и в логическую цепочку от нескончаемости её слов он вспомнил задумчивого мужчину, которому в затылок сразу выстроились американцы. Он заулыбался, так как за американцами всплыл чёрный кот Чеки.

Идея Чеки с котом была зияюще простой. Однако эту идею надо было поймать.

– Нет, товарищ прапорщик, не получится! – засомневались ухарики Чеки.

На дискуссию времени не было. Чека сказал:

– Будем!

Ухарики рассредоточились и притащили чёрного, пушистого и даже, можно сказать, смазливого кота:

– Во!

Валерьянки в санчасти не дали.

– Зачем вам, прапорщик? – спросил врач. – Если для этого, – врач имел в виду дёрнуть, – то не рекомендую. Для этого лучше настойка боярышника. Но у меня и её нет.

Занять денег было не у кого. Никому не платили. Чека взял у жены новенькие домашние тапочки с помпончиками – его же подарок на Восьмое марта – и отнёс торговке. Денег хватило на целых пять фандуриков, то есть, проще говоря, на поллитру. Дали коту. Он отреагировал очень индифферентно. Взяли его за руки за ноги, то есть за передние и задние лапы, чтобы не брыкался, раскрыли пасть и ленули. Вынужденно кот, конечно, выпил, окосел, приобрёл походочку, будто в море лодочка, но ещё просить не стал.

– Ничего, привыкнет. Будем поить – привыкнет! – сказал Чека.

– Сами быстрее привыкнем! – опять засомневались ухарики.

– Кто первый привыкнет, тот и пойдёт вместо кота! – сказал Чека.

Сутки прошли – кот не привык. Чека загрустил.

– Древний Рим спасли гуси. А Америку спас какой-то кот! – в сердцах сказал он.

– Может, и у котов бывают непьющие. Или этот уже завязал! – посочувствовали ухарики, опять рассредоточились и опять притащили чёрного кота, но какого-то такого, в которого Чека сразу поверил: этот не подведёт!

– Да тот-то кошкой оказался, товарищ прапорщик! Нам его хозяйка сказала! А кошки валерьянку не пьют! – сообщили они.

Новый кот на ходу подхватил задачу. Чека с валерьянкой залёг по одну сто-

рону дороги. Добря, замок, то есть заместитель Чеки, пустил kota с другой стороны. Получилось – лучше не бывает. Кот стрелой кинулся к валерьянке. Повторили – результат был один к одному. Усложнили задачу, то есть довели её до необходимого. Чека с валерьянкой опять залёт по одну сторону дороги, Добря с котом – по другую, а ухарики покатали по дороге на «Урале». «Урал» kota не остановил. А кот «Урал» остановил. Только он стрелой вылетел от Добри к Чеке, как ухарикам невольно пришлось дать по тормозам.

– Чёрт! Сам не ожидал! Ведь знал, но нога сама надавила на тормоз! – признался водитель.

– И всё-таки! – сказал Чека и велел перед американцами обвязать kota тонкой леской. – Хрен его знает, на всякий случай. Вдруг кот окажется патриотом и кинется американцам морду бить! – прибавил он.

Кот морду бить американцам не стал. Тут Чека был о нём лучшего мнения. Кот перед американцами на дорогу не пошёл. Те, как и положено по заданию, катили по дороге на «Урале», Добря в нужный момент пустил kota, а тот – ноу! Добря его пинком – в зад. Чека ему навстречу – валерьянкой. А тот – нет, тот: ноу – и всё.

– Он что, трус или заокеанский засланец! – едва не заорал Чека и леской попёр его через дорогу.

Потом американское начальство спросило наше начальство.

– Скажите, – спросило оно. – Кто был это маленькое чёрное чудовище, которое четырьмя лапами упиралось и не хотело перейти дорогу, но всё равно её переходило?

Ответа не слышал ни Саня, ни Чека, то есть прапорщик Сурков Алексей Петрович. Только начштаба бригады полковник Орлов, находившийся с американцами в «Урале», спросил:

– Честно, Алёша, а что это было? Я сам едва не вспотел, когда увидел.

Вот такое воспоминание выровняло Саню.

8

С Женечкой было договорено сегодня быть в театре, где один очень большой человек, в смысле его служебного положения, давал концерт своих произведений. В театре должна была быть вся элита города. О концерте в среде элиты несколько дней говорили. Говорили не так, как нам донесли в своих романах писатели девятнадцатого века. Говорили реже и без отличающего публику девятнадцатого века преклонения едва ли не перед каждым служителем Мельпомены. Но всё-таки о концерте говорили, потому что быть на нём многим много значило. На концерт был приглашён даже московский шеф Сани, однокурсник очень большого человека, который приехать отказался, а приглашение передал Сане.

Возможно, в своих суждениях Саня очень ошибался, как уже несколько раз ошибся. Вполне возможно, очень большой в административном отношении человек мог сочетать свои творческие способности с административными, и наоборот. Только Саня не мог разрешить задачу, в которой ни у которого из

воjak никогда не было никакого времени ни на какое творчество, не связанное со службой. Да ни у кого из них не было не только времени, у них не было и средств. У них вообще ничего не было, кроме возможности сверху вниз фигуристо и фасонисто орать и грозить служебным несоответствием на любой рапорт по команде, потому что ничем иным они ответить не могли. У них не было ничего, кроме дырки в башке, насвиставшей им когда-то стать воjками. У них не было ни денежного довольствия, по-пиджачному, зарплаты, ни квартиры, ни постоянного места жительства, ни казарм для солдатиков, ни тёплых боксов для техники, как не было самой техники, если не считать технику времён царя-батюшки, как не было современного вооружения, современной экипировки. А у гражданских начальников всё им нужное и даже сверх нужного, оказывается, было.

Саня это прокачал, и поступил нетривиально, как должно поступить служащему его ведомства, хотя и с риском, превышающим разумные пределы, о которых гласят служебные документы. Саня как бы в оплату всех своих бесплатных и, выходило, дурацких ратных трудов в чувстве глубокой справедливости попросил у шефа билет и для Женечки. Шеф был человеком чутким и не без юмора. Он при том, что сам быть в театре отказался, попросил у очень большого человека ещё одно приглашение. От очень большого человека Сане позвонила секретарь и выверенным сочетанием строгости с благожелательностью довела до сведения Сани сугубую эксклюзивность приглашений. Саня опять позвонил шефу. Шеф опять позвонил очень большому человеку. От очень большого человека опять позвонила строгая, но одновременно благожелательная секретарь и сказала о вдруг появившейся возможности ещё одного эксклюзива.

Женечка была просто красавицей. В свои двадцать пять она уже была бухгалтером хорошей фирмы. Они познакомились весной. Поздно вечером Саня ловил машину. Остановилась Женечка.

– Что же вы так поздно? – спросил он.

– С работы. Бухгалтерский отчёт, – сказала она.

– И не испугались? – спросил он.

– Наверно, впервые не испугалась, – помолчав, сказала она.

– Это у вас «Лексус»? – спросил он.

– «Лексус», – подтвердила она, чем вдруг ввела его в смущение. Очень не захотелось ему верить в своё представление о том, как добываются «Лексусы» такими молодыми, как она, женщинами.

– А у вас? – спросила она.

– Что? – не понял он.

– У вас какая марка? – повторила она.

– У меня шестнадцать бэтээров, – сказал он и прибавил: – Было.

Их отношения складывались очень неровно. Он не мог понять, зачем он нужен ей, юной, красивой и эффектной женщине, и никогда ей не звонил, никогда к ней не заходил, и даже не знал адреса её фирмы. Она стала к нему заходить сама, взволнованная и напряжённая, скрывающая свой приход за какой-нибудь всякий раз новой причиной, по которой она якобы оказалась на Пушкинской улице или рядышком, и, оказавшись здесь или рядышком, якобы

не могла не зайти. Трудно было сказать, радовался он или не радовался её приходам. Можно было сказать одно – он не знал, что в такие минуты делать. Он боялся оказаться солдафоном, казармой, стариком, вообще человеком из иного мира, из иной эпохи, из иного языка и из иного жизненного уклада, каким, собственно, Саня и был. Язык и интонация речи её поколения, её интеллект ему были чужими. И, кажется, всё в ней ему было чужим. Но он признавался себе, что её внешняя красота, её изящество, её наряды, парфюм и её посещения волновали его как мужчину. Ничего другого в себя он не пускал, закрывшись всё тем же бэтээровским люком: зачем он ей, старый дурак, нужен.

Пробило, если, конечно, пробило его только в связи с этим концертом и с историей с билетами. Получив вчера второй, страшно сказать, эксклюзив, он позвонил ей. Она радостно откликнулась.

– Как классно! – возликовала она. – Я только утром прилетела из Египта, и вы мне звоните!

Она сказала, что к театру приедет троллейбусом. И приехала в чёрном вечернем платье, наверно, от самой мадам Коко, и такая красивая, такая молодая, счастливая, что он задом-задом едва не попытался скрыться. Что говорить, если уж Кушка – смотри на карте самую южную точку Советского Союза – это дырка на тыльной части солдатского организма, то тут ничего не поделать, потому как у некоторых, типа Сани, самая верхняя часть того же организма, то есть башка, похоже, находилась как раз вокруг Кушки. Воистину: «Пехоту высадили на три сто...». Но Женечка просияла ему счастливой улыбкой. И впервые за все отношения между ними, да, кажется, впервые с его лейтенантства, если не вообще впервые в жизни, он поверил в какую-то иную судьбу, нежели была у него.

– Я только вчера из Египта, и вы звоните! Как классно! – снова сказала Женечка.

Она подошла к нему так близко, что он, кажется, услышал удары её сердца.

– А не загорели! – сказал он как можно короче. Длинной фразы он сейчас сказать не мог.

– Я не люблю загорать. Я всё время была в шляпе вот с такими полями! Я к вам в этой шляпе приду! – ответила она.

Он больше говорить не мог. Глядеть на неё он тоже не мог. Возможность иной судьбы будто остановила его.

– А мама прислала вам привет и вот это, – она вынула из сумочки красиво оформленный свёрточек. – Вот, её пирожки вам!

– Мама? – спросил он совсем несуразно и вспомнил на миг того растерянного генерала.

– Я их вам потом отдам, после театра! – сказала она.

От остановки до театра была сотня метров. Они пошли – она свободно, а он через силу. Он боялся взять её под руку. Он несколько раз нечаянно коснулся её руки своей рукой, даже не рукой, а лишь волосами на руке. Каждое прикосновение его мучило.

– Как Египет? – спросил он опять коротко, чтобы скрыть мучение.

– Классно! Я вам расскажу! – откликнулась она.

Он снова почувствовал в её голосе нескрываемую счастливую улыбку.

Посмотреть на неё он смог только в вестибюле второго этажа театра, когда из-за толчеи всё-таки пришлось взять её под руку, а потом вообще встать близко-близко друг к другу, так что она несколько раз невольно коснулась его грудь. Надо ли говорить, что в эти мгновения он каменел и изо всех сил делал вид, что этих прикосновений не заметил. А потом насмелился и посмотрел на неё. Он посмотрел коротко. Она в своём нескрываемом счастье пыталась оглядеться вокруг. Рост ей этого не позволял. Но она всё равно пыталась. Он понял. Она просто искала кого-нибудь, кто бы увидел их вместе – её, его и её счастье. Ему тоже захотелось, чтобы кто-то увидел. Что-то с ним случилось. Ему захотелось нежно обнять её и тем как бы отблагодарить за её счастье. Под предлогом, что вокруг толкутся, он взял её за плечи.

– Толкутся, – сказал он.

– Толкутся, – сказала она, всхмутив бровки. Глаза при этом продолжали лучиться счастьем.

Тут же их действительно толкнули. Он её почувствовал всю от короткого и какого-то ароматного, будто айва, дыхания до щиколотки, которой она в удержании равновесия угодила в его щиколотку.

– И правда, толкутся! – сказал он.

– Правда, толкутся! – счастливо сказала она.

– Ну, как всё-таки в Египте? – спросил он в прихлынувшей лёгкости.

– Очень классно, Александр Михайлович! Там... – начала она.

– Да просто Саша или Саня, как звали меня в бригаде! – попросил он.

– Хорошо, – согласилась она. – Я не знаю, с чего рассказывать. Представляете, там такие пирамиды. Они на самом деле совсем не такие, как на фотографии. Там всё классно. Сначала там жили египтяне. Потом через сколько-то лет пришли арабы. Потом там правила царица Клеопатра.

– Нет, от начала пирамид и до царицы Клеопатры прошло несколько тысяч лет, потом ещё почти через тысячу лет пришли арабы, – поправил он, хотя почувствовал, что не следовало поправлять, следовало только слушать счастливый её голос, видеть её сияющие на него глаза и чувствовать в своих ладонях тёплый трепет её плеч.

– Да, правильно. Я всё перепутала. Но это неважно, Александр Михайлович, то есть Саша! Наверно, я вам кажусь глупой. Да я и есть глупая, кроме своей бухгалтерии, ничего не знаю. Но...

Она запнулась, а он, поймав в её голосе страстные и больно рождаемые нотки, едва не сказал за неё то, что заставило её запнуться, да и его самого заставило запнуться. «Но я люблю вас!.. – вычеканил он в себе её невысказанные слова и тотчас открестился: – Нет, нет! Это я придумал сам, старый дурак!» Признать не высказанные ею и вычеканенные им слова было не только невозможно, но признанием этого выходило явить себя подлинно старым дураком, причём дураком самовлюблённым и похотливым. А уж как Саня ни величал себя, он всё-таки надеялся, что это не так, что он всё-таки ещё не старый дурак, что впереди у него может случиться что-то значительное, хорошее, такое, как вот немного времени назад он понял о возможной перемене в его судьбе.

Она запнулась, посмотрела на него растерянно.

– Ну, всё это было раньше – и всё. А кто кого на сколько раньше – вот просто так – разве это важно! – сказала она.

Он понял её «раньше – и всё!», понял, что вместе с теми тысячелетиями она не считает и их собственную разницу в годах.

«Какой же сегодня день открытий», – отнеся всё только к ней, подумал он. Тотчас снова мелькнул генерал из оврага и мелькнул комбат, по-ихнему, Лом, батяня, практически тоже пославший того генерала по тому же адресу. Они мелькнули. Можно было бы расстроиться, что они мелькнули в такой момент. Но Саня в свете своего дня открытий, отнесённого только к ней, увидел вдруг тот случай по-новому, тоже с открытием. В следующий миг Саня уже не помнил ни генерала, ни батяню Лома. Однако батяня страшно рисковал.

Генерал скумекал, как выражались во времена холопства, чьих такие орёлики могли быть, и прикатил в отряд к Лому.

– Это чьи отморозки, которые только что послали меня на «уу»? – заорал он, естественно, русским, а не полинезийским означением адреса. – Я сейчас их видел у тебя в расположении. Чьи это отморозки? Твои?

– Так точно, товарищ генерал, мои! – сознался Лом.

– Ладненько! – опешил генерал. – Ладно. Ну, всё! – он вышел из палатки, не зная, что сказать ещё, дошёл до «уазика» и вдруг круто повернул обратно. – А смотри-ка, подполковник! Они могут генерала на «уу» посылать. Значит, они смогут мне штурмовать вот эту высоту, – генерал ткнул в карту. – У меня нечем высоту взять, а они могут генерала на «уу» посылать! Давай, подполковник, заворачивай их. И чтобы взяли!

Посылать на штурм высоты одну группу, то есть два десятка человек, даже таких, какими были ухарики Сани, – было преступлением. Преступлением было вообще губить их. И комбата Лома осенило.

– Так ведь они уже ушли на новую задачу, товарищ генерал! – объявил Лом.

– Куда ушли? Что ты мне, подполковник, впариваешь! Я лично видел их только что у тебя в расположении! Ты что, подполковник, меня за «уу» не считаешь? – едва не в родимчике зашёлся генерал. – Адъютант! Быстро туда! А ты, подполковник, если соврал, лично поведёшь их штурмовать, и если останешься живой, посмотрим твоё должностное соответствие и посмотрим твои звёзды на погонах!

Адъютант вернулся тотчас, нехорошо посмотрел на Лома, вполголоса доложил генералу: действительно, их там нет.

А их там уже не должно было быть, потому что, лишь генерал шагнул за дверь палатки, Лом, батяня, мотавший четвёртую или пятую войну, погнал к Сане, капитану Михайлову, посыльного. Саня сидел со своими ухариками, кипятил водичку на спиртовых таблетках и мечтал, как эта водичка закипит, как он опустит в неё чайный пакетик, как потом пойдёт этот чаёк себе в нутро и чутко будет наблюдать прохождение этого чайка из глотки в брюхо. Ажиотажа после нескольких суток задачи ждал Саня. А прибухал посыльный и грубо заорал:

– Сбор, товарищ капитан! Бегом! Километр южнее отсюда и замаскироваться!

– Что? – едва не хватил по уху посыльного Саня. – Какой, на «уу», бегом! Какой, на «уу», километр южнее!

– Приказ комбата, товарищ капитан! – оборонился посыльный.

– Пока я чаю не выпью, я и «уу» не пошевелю! – расвирепел Саня.

– Товарищ капитан! Сейчас генерал сюда зайвится. Комбат приказал вас предупредить! – наконец объяснил посыльный.

9

Женечка больше ничего не стала говорить. И он тоже ничего не стал говорить. Он даже опустил руки. Она немного от него отвернулась, будто надулась. Он тоже немного отвернулся. Оба даже затаили дыхание. Оба от этого стали задыхаться. Но что делать далее, оба не знали. Может быть, оба и упали бы в обмороки. Шутка, конечно. Не упали бы. Но спасением им стали отворившиеся двери в зал, на балкон и приглашение служительницы театра проходить.

Они встрепенулись, прошли к своим местам, признали их удачными. Да они признали бы их удачными, будь они совсем неудачными. Получалось, они пришли слушать не концерт, а пришли слушать себя. Женечка снова заговорила о поездке. Он с шутливым упрёком спросил, что же она поехала, не сказав ему. Она призналась, что хотела сказать, но так как они редко встречались, не получилось сказать само собой. Он почувствовал, что она об этом жалеет, и попытался её успокоить.

– А можно, я что-то вам скажу? – спросила она.

– Можно, – легко сказал он.

– Я там в каждом военном, ну их, египетском военном, видела вас. Как увижу, так... Мне очень хотелось вас увидеть! – выдохнула она.

Он взял её ладонь в свою. Её пальцы ответили. «Господи! Как это, оказывается, легко: полюбить!» – с неожиданной силой открыл он. К этому будто ниоткуда, а на самом деле из давней его поры пришли слова: «Любовь не мыслит зла. Она всего надеется, всё переносит. Она никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Так давно-давно, ещё на первой его войне, ещё в пору лейтенантства, сказал ему молодой священник, а он этих слов тогда будто не услышал. Сейчас они пришли. Он замер, слушая пальчики Женечки и эти слова. Он понял, что тоже её ждал и смотрел с высоты своего трамвайного места на «БМВ» и «Лексусы» не только потому, что ему хотелось ещё раз отметить, так сказать, абсолютную отстранённость их владелиц, а ещё он смотрел в несознаваемом, но уже живущем в нём желании увидеть её.

– Вот вы теперь будете... вы теперь всё знаете и будете... – она снова запнулась, и он снова знал, как продолжить её слова.

– Что вы, нет! – сжал он её пальцы. – Я тоже, я тоже всюду вас видел!.. – он тоже запнулся, не умея сказать, как он её видел всюду, и как не понимал, что видел.

И вдруг он почувствовал, что в зале, где-то сзади него, находится его жена. Он почувствовал её взгляд. Он не захотел его чувствовать, ибо он весь был

в пришедших словах и в ответе пальчиков Женечки. И потому он засомневался, не показалось ли. Взгляд, однако, усилился. Сане пришлось поверить – всё-таки это шестое, седьмое или какое там чувство работало в нём довольно стабильно, если не считать случая с липами и ещё пары подобных случаев. «Оглядываться неприлично», – сказал он себе. «Любовь не мыслит зла, не раздражается», – снова сказал молодой священник.

– Что-то случилось? – спросила Женечка.

– Нет, ничего, – сказал он и вдруг бухнул: – Во сне я сегодня видел липы.

А как они называются, забыл!

– Липы? – удивилась она.

– Да так, пустое. Что-то вдруг вспомнилось! – попытался сказать он беспечно.

Он только сейчас вспомнил, что после контузии липы во сне стали предвещать ему болезнь.

От взгляда ему стало совсем невыносимо. Он напрягся, сказав себе: «Только не здесь!».

– Саша, что с вами? – напрягла пальчики Женечка.

– Нет, ничего, – сказал он и всё-таки оглянулся.

В уходящем свете ламп и среди множества и множества людей он увидел жену. Не успело сердце бухнуть, как он понял, что ошибся. Жены в зале не было.

– Я сейчас, Женечка! – с быстро нарастающим давлением в голове встал он.

«Только не здесь!» – подумал он про инсульт.

Через час он вошёл в свою квартиру.

– Здравствуй, семья! – привычно сказал он.

Он упал и заревел, даже не заревел, а сдавленно заквакал – так было некрасиво, так было по-лягушачьи то, что он делал, уткнув лицо в давно не стиранное диванное покрывало.

На первой своей войне в девяносто втором в Цхинвали лейтенант Саня, как было сказано в его личном деле, участвовал в охране и обороне аэродрома вертолётного полка, в сопровождении колонн с беженцами. Ему по связи сообщили: приехала жена с дочкой. «Какого хрена!» – заорал он. Сильные помехи не дали им поговорить. Он кричал, чтобы она никуда не отлучалась из части. А она, как говорили потом, пошла к ближайшему базарчику за фруктами. В часть она не вернулась, её вместе с дочкой нашли изнасилованными и убитыми.

Молодой местный священник говорил ему о любви.